

## *Глава XVII*

### **ХРУЩЕВ И КЕННЕДИ: 1960—1961**

В середине октября, когда Хрущев вернулся из Америки, до президентских выборов оставался всего месяц. Хрущев ждал их с нетерпением, полагая, что с новым президентом сможет «все начать сначала». А тем временем ему пришлось столкнуться с разразившимся на родине сельскохозяйственным кризисом.

В августе Хрущев докладывал Президиуму о результатах своей инспекционной поездки по Астраханской области. Несмотря на жалобы народа на нехватку мяса, которые он приписал «преступной некомпетентности» местного руководства, перспективы урожая, по его словам, были самыми благоприятными — как и в Калиновке, где он в том же месяце провел два дня. Как отличался от этого бодрого рапорта тон его записки, направленной в Президиум 29 октября! Нынешний год оказался для сельского хозяйства худшим со времени смерти Сталина. Особенно горькое разочарование принесло любимое детище — целина, которую во время пребывания Хрущева в Америке инспектировал его помощник Андрей Шевченко. Мясо, молоко и масло повсюду были в дефиците. Все настолько худо, писал Хрущев, что «если мы не примем необходимых мер, то окажемся отброшены к ситуации 1953 года». После всех ожиданий, возбужденных и поддерживаемых Хрущевым, это вызвало бы не только экономический, но и политический кризис. «Думаю, все мы понимаем важность проблемы», — обращался он к коллегам. Однако предлагаемые им «необходимые меры» не представляли собой ничего нового: все те же бюрократические перетасовки (реорганизация партийной структуры на целинных землях), все та же кукуруза (а кроме того, новая порода уток, с которой он познакомился в Индонезии и теперь собирался разводить в дельте

Волги), давление на крестьян с тем, чтобы они сдавали своих коров в колхозные стада, — и, разумеется, выставление в качестве примерного хозяйства, на которое должны равняться все колхозы его родной Калиновки<sup>1</sup>.

За октябрьской запиской последовали пять месяцев лихорадочной кампании по оживлению сельского хозяйства. Хрущев назначил на январь специальный пленум ЦК и конец осени провел, диктуя пространный доклад. После пленума началась двухмесячная поездка, точнее, серия поездок: Хрущев метался по стране, словно по фронтам войны, стараясь мобилизовать советских крестьян и надзирающих за ними функционеров<sup>2</sup>. Украина (28 января), Ростов (2 февраля), Тбилиси (7 февраля), Воронеж (11 февраля), Свердловск (2 марта), Новосибирск (8 марта), Акмолинск (14 марта), Целиноград (18 марта), Алма-Ата (31 марта): на каждой остановке он произносил пламенные речи, полные негодования в адрес никчемных и коррумпированных функционеров.

На пленуме ЦК в январе 1961 года он говорил, что Министерство сельского хозяйства позволяет «играть роль экспертов кому угодно. Картошку есть ему случалось — и уже воображает, что в сельском хозяйстве разбирается...». Кого же, по мнению Хрущева, можно было назвать настоящим экспертом? Трофима Денисовича Лысенко, сногсшибательным успехам которого была отведена немалая часть доклада<sup>3</sup>. Это не кукуруза у вас «на стебле гниет», бушевал Хрущев на Украине, — это «руководство ваше гниет, а на кукурузу сваливает». Вот сидит товарищ Кальченко, член ЦК и заместитель председателя Совета министров Украины: «Ему плевать, что он допустил ошибку — все как с гуся вода»<sup>4</sup>. Вдруг Хрущев припомнил, что пастухов и свинопасов прежде «считали людьми совсем никчемными... я это говорю, — продолжал он со смесью гордости и стыда, — потому что... и сам был пастухом, а теперь народ и партия сделали меня первым секретарем Центрального Комитета партии и Председателем Совета Министров СССР. Как видите, и среди пастухов есть стоящие люди. (*Продолжительные аплодисменты.*) Поймите меня правильно, товарищи, не вините меня, что я будто бы себя расхваливаю. (*Оживление, аплодисменты.*) В конце концов, я ведь не сам себя назначил — это вы меня выбрали, а вы бы не выбрали человека, не заслуживающего доверия. Я к вашему решению отношусь с уважением. Если вы меня выбрали, значит, я чего-то стою»<sup>5</sup>.

В той же речи Хрущев сравнил нынешний урожай с урожаем 1949 года — не в пользу нынешнего. Еще один скрытый удар по его самолюбию: слушателям не нужно было напоми-

нать, кто довел Украину до голода в 1949 году. По дороге в Воронеж Хрущев и его свита должны были проезжать мимо четверти гектара несжатой кукурузы: узнав об этом, местное начальство распорядилось привезти с близлежащей железной дороги рельс, прикрепить его к трактору и примять им кукурузу, чтобы она издала казалась убранный. «Ну-ну, товарищи, — прорычал, узнав об этом, Хрущев. — Какое новшество в сельскохозяйственной технике! Может быть, вам стоит запатентовать свое изобретение, товарищ Хитров?»<sup>6</sup>

В Казахстане Хрущеву преподнесли национальное угощение — баранью голову — и предложили разделить ее между гостями. «Я отрезал ухо и глаз», — рассказывал он журналистам 4 июля на приеме в американском посольстве. То и другое передал казахскому руководству, а затем спросил: «А кто возьмет мозги?» Когда за мозгами потянулся один академик, Хрущев пошутил: «Академику действительно нужны мозги. А я работаю Председателем Совета Министров, я и без мозгов обойдусь»<sup>7</sup>.

«Почему же вы не аплодируете? — спрашивал Хрущев весной на встрече в Москве. — Я не прошу, чтобы вы мне аплодировали. Нет, я уже не в таком возрасте, чтобы мое настроение определялось только тем, аплодируют мне или не аплодируют. В данном случае я хотел бы рассматривать, как ваше согласие с Центральным Комитетом партии в критике руководителей ваших областей, а также и вас самих за снижение производства зерна... Как, — изложив слушателям меры, необходимые для решения проблемы, — вы согласны с этим? (*Бурные аплодисменты.*) Значит, можно считать ваши аплодисменты как одобрение... (*Бурные аплодисменты.*)»<sup>8</sup>.

31 марта 1961 года Хрущев отправил в Президиум еще одну записку, уже куда более оптимистическую, включавшую в себя программу по оживлению сельского хозяйства в пятнадцати пунктах. В длинном списке не хватало лишь одного — попытки анализа структурных недочетов, свойственных самой системе коллективных хозяйств. Вместо этого Хрущев, по обыкновению, полагался на энергию и трудолюбие «героического советского народа» и гневно клеймил тех, кто не желал поверить в чудеса.

Как до, так и после выборов в США Хрущев не переставал обдумывать германскую проблему. «Я много времени проводил в мыслях об этом», — вспоминал он позже. По словам его сына, это еще мягко сказано: «Вопрос о Германии не давал ему покоя. Его даже кошмары мучили из-за этого»<sup>9</sup>.

Одной из основных целей Хрущева было стабилизировать положение в ГДР (как и в Восточной Европе в целом), заставив западные державы признать режим Ульбрихта. Но вместо этого кризис привел к дальнейшей дестабилизации ситуации. Все больше немцев бежали из Восточной Германии в Западную, что приводило к тяжелой нехватке рабочих рук. Ульбрихт просил прислать ему советских рабочих, но это предложение привело Хрущева в негодование, напомнив ему Гитлера, использовавшего рабский труд «перемещенных лиц». «В тот день он вернулся домой, кипя от негодования, — вспоминает Сергей Хрущев. — Несколько раз повторил: “Как только ему [Ульбрихту] такое в голову взбрело?”»<sup>10</sup>

Усугубляло ситуацию и то, что восточногерманские товары, производимые с помощью дотаций от СССР и продаваемые по низким ценам, скупали процветающие западные немцы, тем самым увеличивая и дефицит в хозяйстве ГДР, и огромный долг Ульбрихта СССР. В довершение к этому, вместо того чтобы подождать, пока Хрущев осуществит свои берлинские угрозы, Ульбрихт начал односторонние действия. В сентябре и октябре 1960 года ГДР преподнесла Москве неприятный сюрприз, приняв решение подвергать западных послов паспортному контролю. 30 ноября на встрече с Хрущевым Ульбрихт заявил: «Сейчас нельзя повторять кампанию в защиту мирного договора, которую мы проводили перед парижским саммитом. Если мы хотим чего-то добиться, надо просто подписать договор». Жители Восточной Германии, добавил он, уже говорят: «Вы только говорите о мирном договоре, но ничего не делаете».

«Я думал, что после Парижа... вы согласились с нами, что мирный договор пока подписывать не следует, — возразил Хрущев. — Два года, прошедшие со времени нашего предложения, не потеряны даром: мы ослабили их позицию». Однако он признал, что «мы оба виноваты в том, что не обдумали все как следует и не разработали экономические меры».

Хрущев убедил Ульбрихта, что в 1961 году подписывать мирный договор преждевременно: сначала Москва должна предоставить ГДР помощь, достаточную для того, чтобы выстоять в неизбежно последующей за договором экономической блокаде со стороны Западной Германии. Однако это было слабое утешение — СССР мог предложить своему союзнику не так уж много. И сам Хрущев не мог не признать, что «если мы не подпишем мирный договор, то что же это получится? Если мы не подпишем его в 1961 году, наш престиж потерпит урон, а позиция Запада, особенно Западной Германии, усилится».

И так плохо, и этак нехорошо — вот в какой капкан завела Хрущева его тактика. «Надо хорошенько все обдумать», — поучал он Ульбрихта — однако сам, как видно, оказался на это неспособен. Восточная Германия, заявил он, должна научиться сама себя обеспечивать. Когда он призвал Ульбрихта полагаться на себя, тот в ответ упрекнул Советский Союз в нерешительности: «Если мы не подпишем мирный договор, а вместо этого опять вернемся к пропаганде, это дискредитирует нашу политику, и после этого мы не сможем восстановить наш престиж в течение одного-двух лет. Мы не можем действовать как в 1960 году»<sup>11</sup>.

Это был не последний случай, когда восточногерманский «хвост» вилял — или, по крайней мере, пытался вилять — советской «собакой». 18 января 1961 года Ульбрихт вновь посетовал на то, как мало продвинулось дело со времени ультиматума 1958 года<sup>12</sup>. Затем, внезапно и без предупреждения, восточногерманская делегация объявилась в Москве, заехав туда по дороге на переговоры с Китаем, и здесь продолжала давление<sup>13</sup>.

Оказавшись в ловушке, Хрущев возлагал большие надежды на нового американского президента. «Мы сейчас начинаем деловое обсуждение этих вопросов с Кеннеди», — сообщил он Ульбрихту 30 января. Дипломатическая разведка показала, что новому президенту нужно время, чтобы разработать свою позицию. Однако «если мы с Кеннеди не придем к взаимопониманию, — продолжал Хрущев, — то, как и договаривались, вместе с вами выберем время для выполнения назначенных мероприятий», в том числе и для подписания мирного договора<sup>14</sup>.

Во время предвыборной кампании в США Хрущев на публике тщательно соблюдал нейтралитет: на вопрос, кого он предпочитает, Кеннеди или Никсона, отвечал: «Рузвельта!» В действительности Хрущеву чрезвычайно не нравился Никсон: он считал его маккартистом, сторонником холодной войны, показавшим свое истинное лицо во время визита Хрущева в США в 1959 году. Поэтому, хотя с Кеннеди он встречался всего однажды, все в том же 1959-м, во время своего кратковременного появления в сенате (причем заметил ему, что для сенатора тот чересчур молодо выглядит), Хрущев предпочитал «болеть» за демократов. В феврале 1960-го, на встрече в Москве с Генри Кэботом Лоджем он сперва с явным недоверием встретил утверждение, что Никсон — не такой уж пламенный антикоммунист, каким предстает в своих предвыборных речах, а затем отверг просьбу

освободить до выборов американских разведчиков, задержанных тем летом на территории СССР<sup>15</sup>.

Победа Кеннеди 4 ноября, вспоминал Сергей, очень обрадовала Хрущева; он буквально «сиял от радости и шутил, что победа Кеннеди — лучший подарок ему к годовщине революции». И позже он настаивал на том, что никогда не жалел о победе Кеннеди. «Кеннеди лучше, чем Эйзенхауэр, понимал необходимость и разумность улучшения отношений между нашими странами»<sup>16</sup>. Однако отношения Хрущева и Кеннеди не были однозначными — ни в личном плане, ни в политическом.

В августе 1960 года Громыко передал своему боссу досье, подготовленное Министерством иностранных дел. В нем Джей Эф Кей описывался как прагматичный политик, выступающий за переговоры с Советским Союзом; отмечалось, что на месте Эйзенхауэра он, несомненно, извинился бы за полет У-2. Однако тот же Кеннеди поощрял военную промышленность и занимал «агрессивную» позицию по берлинскому вопросу. Многие детали его личной биографии также содержали в себе скрытый вызов Хрущеву: семья Джей Эф Кей принадлежала к «семидесяти пяти самым богатым семьям в США», сам он учился в Гарварде, Принстоне, Стэнфорде и Лондонской экономической школе, а кроме того, обладал «острым, проницательным умом, способностью к быстрому пониманию и анализу ситуации...»<sup>17</sup>.

Со временем Хрущев получил от советского посла в Вашингтоне Меньшикова и от своего зятя Алексея Аджубея иные, не столь лестные характеристики кандидата в президенты. В Министерстве иностранных дел ни для кого не было секретом, что Аджубей называл Джона и Роберта Кеннеди «мальчиками в коротких штанишках». Посол Меньшиков сообщал Хрущеву, что Кеннеди — «неопытный новичок», из которого едва ли получится хороший президент<sup>18</sup>. Эти уничижительные отзывы, должно быть, подогревали желание Хрущева схлестнуться с новым президентом: гордый своей способностью брать верх над более образованными и культурными лидерами западных держав, он, несомненно, с нетерпением ждал возможности поучить уму-разуму богатенького мальчишку, который «моложе моего собственного сына»<sup>19</sup>. Однако, если бы даже Кеннеди в самом деле оказался слаб и неопытен, — не следовало забывать, что за ним стояли «правлящие круги» Америки, в том числе Уолл-стрит и военно-промышленный комплекс, которых Хрущев считал заклятыми врагами СССР. Возможно, именно эта мысль вызвала у него в последнюю минуту сомнения, которыми

он перед самыми выборами поделился с послом Томпсоном: «Я бы предпочел, чтобы выиграл Никсон. С ним-то я знаю, как сладить. А вот Кеннеди для меня — неизвестная величина»<sup>20</sup>.

Для Кеннеди Хрущев также был чрезвычайно значимой фигурой. Новый президент понимал: на суде истории его роль будет оцениваться прежде всего по тому, как он вел себя с лидером коммунистического мира. В дело могли вмешиваться и личные факторы: можно предположить, что Хрущев напоминал Кеннеди отца. Джон рос слабым, болезненным мальчиком; однако его отец требовал, чтобы сын во всем превосходил сверстников, а когда у него что-то не получалось, жестоко высмеивал. В конце концов Джон Кеннеди превзошел своего отца по всем статьям — не только как политик, но и как донжуан, светский лев и кумир публики. Однако необходимость напрягать все силы, чтобы оправдать ожидания отца, не могла не оставить в его душе серьезной травмы — тем важнее для него было успешное противостояние Хрущеву, тем сильнее он должен был переживать, когда поначалу потерпел поражение, и тем больше гордиться собой — когда победил (по крайней мере с точки зрения очевидцев) в последовавшем затем кризисе<sup>21</sup>.

Немедленно после выборов Хрущев принялся осаждать Кеннеди пробными заходами и предложениями. 11 ноября друг и прихлебатель Хрущева, украинский писатель Александр Корнейчук, сообщил Авереллу Гарриману, что советский руководитель хочет «начать все сначала, забыв инцидент с У-2 и все, что за ним последовало»<sup>22</sup>. Три дня спустя посол Меньшиков в беседе с тем же Гарриманом сказал: Хрущев надеется, что его отношения с Кеннеди «сложатся так же, как наши отношения с Рузвельтом в то время, когда господин Гарриман представлял США в России»<sup>23</sup>. 16 ноября Меньшиков сообщил Эдлаю Стивенсону, что вскоре после инаугурации Хрущев хотел бы провести «здесь или там» «дискуссию без стенографов и отчетов», «неформальные переговоры» по вопросу о запрете ядерных испытаний. Что касается Китая — хотя Москва не может заставить Пекин согласиться на признание «двух Китаев», но, когда речь идет о «китайской экспансии» [!], СССР «будет рад вам помочь»<sup>24</sup>. Стивенсон выслушал наши предложения с интересом, докладывал 21 ноября Меньшиков, и есть надежда, что «взгляды самого президента Кеннеди» будут для нас еще более благоприятны<sup>25</sup>. Но, к сожалению, вновь избранный президент «не может вести никаких переговоров до официального вступления в должность»<sup>26</sup>.

«Что мы можем сделать, чтобы помочь новой администрации?» — спрашивал заместитель министра иностранных дел Василий Кузнецов советников Кеннеди Уолта Ростоу и Джерома Уайзнера, прибывших в Москву в конце ноября на встречу по вопросу разоружения. Ростоу предположил, что саммит в Нью-Йорке вполне возможен, если русские освободят захваченных летом американских пилотов, если будет достигнуто соглашение по запрету ядерных испытаний и если в Манхэттене Хрущев «не станет снимать ботинки»<sup>27</sup>. 12 декабря Меншиков пригласил Роберта Кеннеди на обед. Два дня спустя он просил Гарримана «как можно скорее» организовать секретные неофициальные переговоры<sup>28</sup>. «Нельзя терять времени, — несколько раз повторил посол. — Мы и так потеряли уже год», и теперь Хрущев и Кеннеди должны встретиться «перед тем, как у тех, кто не хотел бы нашего соглашения, появится возможность действовать и помешать ему»<sup>29</sup>. 5 января дипломат Дэвид К. Э. Брюс получил от Меншикова аналогичное послание вместе с подарками — русской водкой и икрой — и предложением о встрече: на встрече Меншиков повторил то же, что и в письме<sup>30</sup>.

Стоит вспомнить, как не терпел Хрущев выглядеть просителем, чтобы понять: происходило нечто экстраординарное. Настойчивые просьбы о переговорах выдавали крайнее нетерпение Хрущева, усиленное затяжным германским кризисом и сельскохозяйственными проблемами на родине. Однако в американской политике он разбирался не лучше, чем в советском сельском хозяйстве. Очевидно было, что до формального вступления президента в должность никакие переговоры невозможны. И даже после этого новому главе государства требовалось определенное время, чтобы выработать свою позицию и подготовиться к грядущим испытаниям.

В день, когда Кеннеди принес присягу, Хрущев (в первый раз за все время) позвонил в американское посольство и попросил посла Томпсона зайти к нему. Он принял посла в своем кабинете на втором этаже Кремля, за длинным столом, покрытым зеленым сукном. Советский руководитель выглядел усталым, голос его звучал хрипло. Он сказал, что прочел инаугурационную речь Кеннеди, увидел в ней «конструктивные моменты» и принял решение в знак уважения к новому президенту освободить американских летчиков<sup>31</sup>.

Кеннеди ответил несколькими жестами доброй воли: прекратил государственный контроль за получаемыми в Америке советскими периодическими изданиями, приветст-

вовал возобновление переговоров по вопросу о гражданской авиации, прерванных в 1960 году, приказал генералитету снизить тон и умерить антисоветские выпады в своих речах и отменил запрет на импорт советских крабов. Однако эти знаки благорасположения были омрачены зловещими предзнаменованиями с той и с другой стороны.

6 января на закрытой конференции идеологов и пропагандистов Хрущев делал доклад о Совещании коммунистических и рабочих партий, проходившем в Москве в ноябре 1960 года. Как и компромиссная декларация, завершившая совещание, его нынешняя речь была составлена тщательно и обдуманно. С одной стороны, в ней слышались отзвуки китайской позиции: мир идет по пути социализма, империализм слабеет как у себя на родине, так и за рубежом, страны третьего мира встают на путь революции. С другой стороны, противореча Мао, Хрущев заявил, что ядерная война принесет «неисчислимый ущерб» миру и «гибель миллионов». «Локальных войн» допускать тоже нельзя, поскольку они неизбежно будут перерастать в глобальные. Единственные войны, которые готов поддерживать Советский Союз, — это (кивок в сторону как маоистского, так и его собственного марксизма-ленинизма) «войны за национальное освобождение». Такие войны, как, например, борьба алжирского народа против французского колониализма, «неизбежны» и «священны»<sup>32</sup>.

Для советского внешнеполитического курса такие речи были типичны. Это понимал Эйзенхауэр, заметивший в частном разговоре, что для Хрущева решительные разговоры — не прелюдия к решительным действиям, а, скорее, их замена. Но не так смотрел на это Кеннеди. Согласно Артуру М. Шлезингеру-младшему, «агрессивная самоуверенность, пронизывающая остальную часть речи [кроме отказа от ядерной войны], и особенно прозвучавшая в ней вера в победу социализма благодаря мятежам, диверсиям и партизанским войнам, встревожила Кеннеди, несмотря на поступающие из Москвы знаки, свидетельствующие о дружелюбии». Проигнорировав предупреждение Томпсона о том, что эта речь представляет лишь одну сторону сложной личности Хрущева, Кеннеди воспринял ее как «серьезное изложение советских намерений», приказал своим помощникам «внимательно изучить» ее текст и сам в своей речи 30 января заявил: «Не следует убаюкивать себя уверенностью, что обе державы [СССР и Китай] отказались от планов мирового господства — планов, которые они обе совсем недавно подтвердили. Напротив, наша задача — убедить их, что агрессия и диверсия не станут выгодными путями к исполнению их планов»<sup>33</sup>.

Два дня спустя США провели испытательный запуск первой межконтинентальной ракеты «Минитмен»; пресса назвала это прелюдией к серьезным испытаниям, которые будут проведены в середине 1962 года. 6 февраля секретарь по обороне Роберт С. Макнамара заявил, что пресловутая уязвимость США для советских ракет, на которой так настаивает Хрущев, — миф<sup>34</sup>. Между тем на просьбы Хрущева о саммите по-прежнему не поступало официального ответа, что вовсе не было напрямую направлено против Хрущева, — но он-то об этом не знал<sup>35</sup>.

В частных беседах Кеннеди не проявлял особого беспокойства по поводу планов Хрущева — настолько, что после его встречи 11 февраля с советниками по советским делам Чарльз Болен встревожился: ему показалось, что президент недооценивает стремление Хрущева к мировому экспорту коммунизма. Или, возможно, тревога Кеннеди трансформировалась в то, что госсекретарь Дин Раск определил как чрезмерную готовность к переговорам с Хрущевым? «У Кеннеди создалось впечатление, — рассказывал позже Раск, — что, стоит ему сесть с Хрущевым за стол переговоров, из этого обязательно что-нибудь получится — наладится взаимопонимание и сблизятся позиции по различным вопросам». Сам Кеннеди говорил своему помощнику Кеннету О'Доннеллу: «Я хочу показать ему, что мы не слабее его. Через обмен посланиями это показать невозможно. Я хочу сесть с ним за один стол и показать ему, с кем он имеет дело»<sup>36</sup>.

21 февраля, проведя еще одну встречу со своими советниками по советскому вопросу — Томпсоном, Гарриманом, Кеннаном и Боленом, — президент одобрил «неофициальный обмен взглядами» с Хрущевым и предложил провести его, как только позволит международное положение и расписание обоих лидеров. 27 февраля, вернувшись в Москву, посол Томпсон должен был передать Хрущеву письмо от Кеннеди и обговорить детали встречи. А тем временем, по словам Трояновского, надежды Хрущева на Кеннеди начали «таять» и он «занял выжидательную позицию», «не торопясь с ответом» на предложение президента о встрече и обмене мнениями<sup>37</sup>.

Не помогало делу и развитие событий в Конго, откуда 13 февраля пришло известие об убийстве Патриса Лумумбы, ответственность за которое советский руководитель возложил на «западных колониалистов» и поддерживающего их Генерального секретаря ООН Хаммаршельда. Кроме того, западные страны продолжали упорствовать в вопросе о Германии и Берлине. 17 февраля СССР направил в Бонн меморандум, в котором указывалось, что прежде западные лиде-

ры говорили: «Подождем немного, сейчас не время. В США идет подготовка к президентским выборам. Подождем, пока там все закончится». А после выборов они говорят: «Президент и новое правительство США только-только вступили в свои должности и еще не освоились со своими новыми обязанностями...» Если позволить делу идти таким чередом, это может продолжаться до бесконечности»<sup>38</sup>.

27 февраля Томпсон вернулся в Москву — а на следующий день Хрущев отправился в очередное сельскохозяйственное турне, не потрудившись перед этим его принять. Томпсон сумел передать письмо президента только 9 марта, поймав Хрущева в Новосибирске. Советский руководитель остановился в Академгородке, возведенном не так давно по его приказу. Академики, члены Сибирского отделения Академии наук, заметили, что председатель Совета министров чем-то недоволен. Томпсон пишет, что Хрущев «выглядел безмерно усталым, его вид поразил даже моих советских спутников»; и когда советский лидер узнал, что в письме Кеннеди нет ни слова о Берлине, его настроение, разумеется, не улучшилось<sup>39</sup>.

С самой инаугурации Кеннеди старался избегать этой темы. Еще в феврале Томпсон предупреждал, что, если по германскому вопросу «не будет достигнут прогресс», Хрущев, весьма вероятно, «пойдет на подписание сепаратного мирного договора», после чего, вполне возможно, ГДР попытается «затянуть удавку на шее» у Западного Берлина. Чтобы избежать этого, необходимо «проявить активность по германскому вопросу, дав понять, что реальный прогресс может быть достигнут после выборов в Германии»<sup>40</sup>. Однако президент отказался от этого плана и проинструктировал Томпсона не упоминать о Берлине в Новосибирске. Хрущев, сухо замечает Томпсон, сумел сдержаться лишь потому, что к этому времени уже потерял надежду выдоить молоко из камня: «...Хрущев заметил, что я не упомянул германский вопрос, который он хотел бы обсудить. Он сказал, что СССР высказал свою позицию в меморандуме к Аденауэру... Сказал, что детально объяснил свою позицию президенту Эйзенхауэру... Сказал, что ему очень хотелось бы, чтобы президент Кеннеди с пониманием отнесся к советской позиции по германскому вопросу»<sup>41</sup>.

На это Томпсон смог ответить лишь, что президент «пересматривает нашу политику в Германии и хотел бы обсудить ее с Аденауэром и другими союзниками, прежде чем приходить к каким-то выводам». Однако он не предвидит «больших перемен» с американской стороны. Он предупре-

дил Хрущева, что, «если что-либо способно заставить нас увеличить расходы на вооружение в той мере, как это было во время Корейской войны, — это убежденность, что Советы хотят выдавить нас из Берлина...»<sup>42</sup>.

Несколько дней спустя Томпсон предупреждал своих боссов: «Все мои коллеги-дипломаты... полагают, что, если не начать переговоры, Хрущев подпишет сепаратный мирный договор с Восточной Германией, что вызовет кризис в вопросе о Берлине»<sup>43</sup>. Он предположил даже, что Восточный Берлин будет отгорожен стеной, «дабы прекратить поток беженцев, с которым они не могут мириться». Но обе стороны не обращали внимания на его предупреждения. Заботясь о своем престиже, Хрущев не думал о престиже Кеннеди. Кеннеди же полагал, что раз Хрущев ждет уже три года — может подождать еще.

В середине апреля на даче в Пицунде Хрущева посетили американский журналист Уолтер Липман и его жена Хелен. Чередую разговоры с прогулками, партиями в бадминтон (во время которых пожилой и грузный, но энергичный Хрущев разбил Липманов в пух и прах) и двумя роскошными обедами, Хрущев указывал на сепаратный мирный договор с Германией как на единственный выход для себя. «Я не хочу напряженности, — повторил он несколько раз. — Я знаю, что это создаст напряженность, и хочу ее избежать. Но, в конце концов, ничего другого мне не остается». Когда Липман заговорил об опасности войны, Хрущев заявил: «Нет на Западе таких глупых политиков, которые могли бы развязать войну, где погибнут миллионы людей, из-за мирного договора с ГДР... Не родился еще такой идиот». Следуя подсказке из Вашингтона, Липман предложил пятилетний мораторий по берлинской проблеме. Хрущев посмотрел на него как на ненормального<sup>44</sup>. Месяц спустя, когда Томпсон предложил оставить Берлин «как есть», Хрущев резко ответил, что «ждать можно до осени-зимы нынешнего года, а потом будет поздно. Он напомнил мне, что первоначально пытался решить проблему за шесть месяцев — а прошло уже тридцать»<sup>45</sup>.

После Новосибирска казалось, что саммит Хрущева и Кеннеди откладывается на неопределенный срок: однако не прошло и двух месяцев, как они встретились в Вене. За это время произошли еще два события, которые сделали еще менее вероятной возможность взаимопонимания. Полет в космос Юрия Гагарина и неудавшаяся интервенция США

на Кубу укрепили уверенность Хрущева в том, что он сможет добиться от Соединенных Штатов всего, что ему нужно.

В те несколько месяцев, что предшествовали полету Гагарина, Хрущев очень переживал из-за крушений советских ракет. Еще в октябре 1960 года, сразу после его возвращения из Нью-Йорка, ракета Р-16 взорвалась на испытательном полигоне в Тюратаме, причем погибла почти сотня человек, включая и главнокомандующего ракетными войсками стратегического назначения Митрофана Неделина: от него остались только один маршальский погон и полурасплавленные ключи от кабинета. Хрущев, вспоминает его сын, был в отчаянии<sup>46</sup>. Но вскоре после этого успех Гагарина поразил мир — поразил тем сильнее, что произошел незадолго до дня Первого мая. Сергей Хрущев, сам участвовавший в разработке советской космической программы, уверяет, что его отец не стремился подгадать даты запусков к «красным дням календаря» — однако никто из связанных с программой освоения космоса не сомневался, что она имеет прежде всего политическое значение<sup>47</sup>.

О полете Гагарина было объявлено только после того, как первопроходец космоса успешно приземлился. Хрущев нервно расхаживал по своему кабинету, когда к нему вбежал с новостями Сергей Королев. «Просто скажите, он жив?!» — воскликнул Хрущев. Едва Гагарин оказался на земле, Хрущев бросился к телефону: «Пусть весь мир смотрит и видит, на что способна наша страна, что могут сделать наш великий народ, наша советская наука»<sup>48</sup>.

Когда Сергей вечером позвонил отцу, тот был «в восторге». Он уже повысил Гагарина в звании со старшего лейтенанта до майора (пропустив звание капитана, которое предложил министр обороны Малиновский), наградил его звездой Героя Советского Союза, решил лететь в Москву, чтобы поздравить его лично, приказал объявить 12 апреля национальным праздником, организовать парад на Красной площади и грандиозный банкет в Кремле, чтобы отпраздновать это событие. Сергей беспокоился о здоровье отца: «Предыдущие месяцы сильно его утомили, он наконец вырвался отдохнуть на две-три недели — и вот всего через два-три дня собирается вернуться в Москву». Однако Хрущев не слушал никаких возражений и «рвался в Москву»<sup>49</sup>.

Когда самолет с Гагариным в сопровождении четырех истребителей приземлился на аэродроме во Внукове, его уже ждал там Хрущев — вместе со всей партийной верхушкой, избранными министрами и маршалами, а также семьей космонавта. Гагарин сошел с самолета по красной ковровой

дорожке, отпрапортовал Хрущеву («задание выполнено», «отличные условия», «готов к любому новому заданию» и т. п.) и получил в ответ горячее объятие лидера страны<sup>50</sup>. В кинохронике, посвященной этому событию, мы видим, как Хрущев утирает белым платком выступившие слезы. После отставки Хрущева кадры с его изображением из фильма вырезали, оставив Гагарина рапортовать куда-то в пустоту.

Поначалу Хрущев хотел, чтобы во главе процессии, следующей по Ленинскому проспекту на Красную площадь, ехали только Гагарин с женой, — однако не смог удержаться от искушения покрасоваться рядом с ними в оббитом цветочными гирляндами открытом лимузине. Затем — ликующие толпы, безоблачные небеса, развевающиеся знамена, речи с трибуны Мавзолея, а в завершение дня — дипломатический гала-прием, на котором Хрущев снова обнимал Гагарина и радовался тому, каких успехов достигла страна. Прежде «мы ходили голые и босые», — ораторствовал Хрущев. — Высокомерные «теоретики» предсказывали, что «лапотная Россия» никогда не станет великой державой. И вот эта «когда-то безграмотная Россия», которую многие считали «варварской страной», первой проторила дорогу в космос!<sup>51</sup> «Вот так, Юрка! — восклицал Хрущев. — Пусть знают все, кто точит когти против нас. Пусть знают, что Юрка был в космосе, все видел, все знает...»<sup>52</sup>

Четыре дня спустя Соединенные Штаты предприняли вторжение на Кубу. До сих пор победа в 1959 году Фиделя Кастро над диктатором Фульхенсио Батистой не привлекала особого внимания Хрущева. О бородатом революционере советская интеллигенция знала только то, что рассказывали кубинские коммунисты, а они называли Кастро агентом ЦРУ. Однако, после того как высокопоставленные советские эмиссары, включая Микояна, установили, что Фидель — марксист, Хрущев загорелся идеей создать блокпост социализма под самым носом у дяди Сэма. Поначалу Москва действовала осторожно, опасаясь спровоцировать американцев. Но к концу 1960 года, вспоминает Сергей Хрущев, его отец не только пришел к мысли о необходимости помощи Кубе, но и «буквально влюбился» в самого Кастро, которого ласково называл «бородачом»<sup>53</sup>.

В марте 1961 года советская разведка сообщила о подготовке американцами интервенции на Кубу. Это, согласно Трояновскому, была вторая причина, по которой Хрущев не спешил назначать дату двустороннего советско-американского саммита<sup>54</sup>; в то же время Кеннеди колебался с назначением даты высадки на Кубу, опасаясь, что вторжение кубин-

ских эмигрантов развяжет Хрущеву руки в берлинском вопросе<sup>55</sup>. Наконец президент отдал приказ, однако отказался предоставить прикрытие с воздуха. В результате пехотинцы, высадившиеся на Кубе, были просто сметены с лица земли.

В первой публичной реакции Хрущева, переданной Кеннеди еще до того, как исход военных действий стал вполне ясен, слышатся нотки искренней тревоги: «Сейчас еще не поздно предотвратить непоправимое». Однако несколько дней спустя, когда опасность миновала, Хрущев перешел к своим обычным гневным штампам: «Агрессивные разбойничьи действия не могут спасти вашу систему. В историческом процессе развития человеческого общества каждый народ сам решает и будет решать судьбы своей страны»<sup>56</sup>. В частных разговорах настроение Хрущева «скакало» от радости к глубокому неудовольствию. Поначалу его поразило и разъярило то, что высадка на Кубу совпала с днем его рождения — 17 апреля. Кроме того, он был убежден, что американцы закончат начатое появлением флота и бомбежкой острова с воздуха. «Я не понимаю Кеннеди, — заметил он сыну, когда президент не сумел добиться победы. — Что с ним такое? Как можно быть таким нерешительным?»<sup>57</sup> По словам Трояновского, подумав, Хрущев пришел к двум умозаключениям: во-первых, между президентом-республиканцем и президентом-демократом нет ровно никакой разницы (что он мог бы почерпнуть и из трудов классиков марксизма-ленинизма), а во-вторых, теперь, когда Кеннеди проявил слабость, самое время с ним встретиться. Следуя той же логике, он полагал, что президент постарается избежать встречи. Однако Кеннеди его удивил<sup>58</sup>.

Сразу после кубинской катастрофы Кеннеди был подавлен и удручен. По словам его друга Лемойна Биллингса, президент «постоянно винил в кубинском фиаско себя». Другой его друг, Чарльз Сполдинг, замечает: «Он не мог думать ни о чем другом, и все мы старались его отвлечь». Кеннеди боялся, что его «кубинская ошибка» поощрит коммунистов действовать «все смелее и смелее», вступая с ним в конфронтацию «во всех частях света»<sup>59</sup>. Особенно беспокоили его сообщения о том, что после кубинского поражения американцев Хрущев сделался смелее и задиристее, чем когда-либо ранее<sup>60</sup>. Вот почему Кеннеди чувствовал настоятельную необходимость встретиться с советским лидером, хотя внутренне и не был готов к этой встрече. «Ввязываться в драку между коммунистами и антикоммунистами на Кубе или в Лаосе — одно дело, — говорил он О'Доннелу. — Но сейчас настало время дать ему [Хрущеву] понять, что отношения между США и Россией — это нечто совсем иное»<sup>61</sup>.

12 мая Хрущев принял долгожданное предложение Кеннеди: переговоры были назначены на 3—4 июня в Вене. Желая до саммита продемонстрировать свою силу, 25 мая Кеннеди обратился к нации, потребовав увеличения расходов на оборону, включая трехкратное увеличение расходов на ракетные вооружения. Так же вел себя и Хрущев: незадолго до саммита он предупредил посла Томпсона, что заключение договора с Германией — вопрос почти решенный<sup>62</sup>.

Назначив саммит, Кеннеди начал к нему готовиться: изучал стенограммы предыдущих саммитов, беседовал с теми, кому уже доводилось общаться с Хрущевым. «Он вовсе не глуп, — заключил президент. — Он умный человек. Он... — Тут, не находя подходящего слова, президент взмахнул кулаком в воздухе... — Он крепкий орешек!»<sup>63</sup> Гарриман с этим согласился, но предупредил Кеннеди, что хвастовство и угрозы Хрущева не стоит воспринимать слишком серьезно: «Не позволяйте ему вас уболтать. Он постарается вас запугать и запутать, но не обращайтесь на это внимания... Его стиль — сперва ввязываться в драку, а потом смотреть, что из этого выйдет. А вы не ввязывайтесь туда, куда он вас втягивает, а вместо этого посмейтесь над ним».

По дороге в Вену, когда Кеннеди и его команда остановились в Париже, де Голль дал президенту тот же совет: «Если бы Хрущев хотел войны из-за Берлина, он бы ее уже начал». Французский лидер предупредил также, что Хрущев попытается проверить Кеннеди на прочность («Ваша задача, господин президент, — заставить Хрущева поверить, что перед ним человек, готовый к драке. Держитесь стойко... будьте жестким, проявляйте силу»), поскольку у него есть причины в этом сомневаться: после поражения на Кубе де Голль и сам обеспокоен тем, что Кеннеди «в некотором смысле проявил слабость», и опасается, что «столь молодой человек» не сможет противостоять Хрущеву по берлинскому вопросу<sup>64</sup>.

Советники Кеннеди предупреждали его также, что в идеологические споры с Хрущевым ввязываться не стоит. Все эти советы усиливали нервозность и напряжение президента накануне саммита. В довершение всего, ему не давали покоя тщательно скрывавшиеся от американской публики проблемы со здоровьем. На людях Кеннеди старался производить впечатление сильного, здорового, энергичного человека; в действительности же он был так слаб, что часто по полдня проводил в постели. Кроме того, он страдал от болезни Аддисона и болей в спине, из-за которых временами мог передвигаться только на костылях. Во время пребывания в Вене 3 июня он принимал кортизон, от которого у не-

го опухло лицо; с этим же лекарством были связаны резкие колебания настроения. Кроме того, он пил прокаин — анальгетик от болей в спине, — а также таинственную смесь амфетаминов, витаминов, энзимов и бог знает чего еще, назначенную ему (в последние минуты перед первым заседанием саммита) эксцентричным нью-йорским врачом Максом Джейкобсоном, которого его пациенты из высшего общества прозвали доктором Айболитом<sup>65</sup>.

Хрущев прибыл в Вену поездом на день раньше. Среди встречавших был его старый враг Молотов, теперь представлявший СССР в Международном агентстве по атомной энергии. Молотов к саммиту не имел никакого отношения, однако его присутствие напомнило Хрущеву, сколь многое зависит от этой встречи не только в международных отношениях, но и в вопросе его престижа. 3 июня, вскоре после полудня, Хрущев и Кеннеди пожали друг другу руки на ступенях американского посольства. Стройный Кеннеди возвышался над приземистым Хрущевым почти на полголовы.

От последовавших затем двухдневных переговоров волосы вставали дыбом. По крайней мере, так оценивал их сам Кеннеди. «Самое тяжелое испытание в моей жизни, — рассказывал он немедленно по возвращении домой корреспонденту «Нью-Йорк таймс» Джеймсу Рестону. — Думаю, он так себя вел из-за нашей неудачи на Кубе. Видимо, решил, что с человеком, ухитрившимся ввязаться в такую историю, легко будет справиться. Решил, что я молод, неопытен и слаб духом. Он меня просто отколошматил... У нас серьезнейшая проблема. Если он считает, что я неопытен и слаб — я обязан его в этом разубедить, иначе мы так никуда и не двинемся. Так что мы должны действовать»<sup>66</sup>.

После саммита, в Лондоне, где Кеннеди имел долгий приватный разговор с Макмилланом, британский премьер заметил, что его собеседник «совершенно подавлен грубостью и безжалостностью» Хрущева. Он, писал Макмиллан у себя в дневнике, производил впечатление человека, «впервые встретившегося с Наполеоном в расцвете его могущества и славы». Или «лорда Галифакса или Невилла Чемберлена, пытающихся вести переговоры с господином Гитлером»<sup>67</sup>. Дин Раск позже писал об этом так: «Кеннеди был очень расстроен. Он оказался не готов к лобовому столкновению с Хрущевым...» Гарриман нашел президента «потрясенным». Линдон Джонсон хмуро заметил друзьям: «Хрущев до смерти напугал мальчишку»<sup>68</sup>.

Видел ли Хрущев в своем партнере слабого и неподготовленного юнца, которого можно безнаказанно запугивать?

Сергей Хрушев утверждает, что нет, что Хрушев рассматривал Кеннеди как «серьезного партнера»<sup>69</sup>. На первый взгляд это подтверждается и воспоминаниями самого Хрущева. Кеннеди произвел на него впечатление «лучшего политика, чем Эйзенхауэр», пишет он. Как и его предшественник, Кеннеди «не хотел войны»; но он был «эластичным человеком» и, «кажется, лучше Эйзенхауэра понимал идею мирного сосуществования». Кеннеди, продолжает Хрушев, был «умным человеком», из тех, кто «не станет принимать поспешных решений, способных привести к военному конфликту»<sup>70</sup>.

Разумный, гибкий, страшась войны, готовый избежать конфликтов... К сожалению, все эти качества предполагали, что президент готов пойти на многое, лишь бы избежать конфронтации — особенно если Хрушев на него надавит. Позитивный тон отзыва о Кеннеди в мемуарах Хрущева отражает умозаключения, к которым автор пришел позже. До Вены — и некоторое время после — он был убежден, что сможет вертеть Кеннеди, как захочет. На заседании Президиума за десять дней до начала саммита Хрушев объявил, что намерен надавить на президента в берлинском вопросе. В ответ на просьбу Микояна быть поосторожнее Хрушев с улыбкой заметил, что на Кубе Кеннеди проявил слабость, которую просто грех не использовать<sup>71</sup>. Вернувшись в советское посольство после первого дня саммита, он выглядел еще более уверенным в себе. «Ну что вам сказать? — обратился он к Трояновскому и другим советским дипломатам, ждавшим его возвращения. — Это очень неопытный, может быть, даже незрелый человек. По сравнению с ним Эйзенхауэр — это глубоко мыслящий деятель, с серьезными взглядами на действительность»<sup>72</sup>.

Были минуты, особенно к концу второго дня встречи, когда Кеннеди собирался с силами и противостоял Хрущеву на равных. Однако перед этим президент упрямо и необъяснимо цеплялся за те самые идеологические аргументы, которых ему советовали избегать, поскольку Хрушев любит идеологические споры и умеет брать в них верх. Президенту рекомендовали не углубляться в идеологию, не обращать внимания на угрозы и хвастовство, предложить перейти прямо к обсуждению германских проблем, а если Хрушев откажется, холодно распрощаться, добавив, что переговоры возобновятся, когда Хрушев будет к ним готов<sup>73</sup>. Однако именно этого он и не сделал.

Хрущев поначалу сам старался избежать вопросов, связанных с идеологией. Когда Кеннеди обвинил Советский Союз в «стремлении уничтожить свободные режимы в важных для нас регионах», Хрущев сперва начал возражать, но потом добавил: «Впрочем, это не повод для спора и тем более для войны». Вместо того чтобы уловить этот намек, Кеннеди продолжал рваться в бой: он объявил, что Москва поддерживает прокоммунистические меньшинства, «не выражающие волю народа», поскольку «СССР верит, что это исторически неизбежно». «Соединенные Штаты пытаются возвести плотину, преграждающую путь развитию человеческого разума и сознания», — отвечал на это Хрущев<sup>74</sup>.

На бесплодные перепалки такого рода ушло почти все первое заседание. После обеда (на котором Хрущев заметил, что завидует молодости президента, но и в свои шестьдесят семь лет «соревнования не боится») и прогулки вместо того чтобы перейти к обсуждению заранее подготовленного списка вопросов — Лаос, Берлин и запрет ядерных испытаний, — Кеннеди снова начал спор о коммунизме и капитализме. Это привело к долгим бесплодным дебатам о том, за кем же в конечном счете будущее.

Нельзя сказать, что этот разговор был вовсе лишен практического значения. Кеннеди старался показать, как опасно может быть идеологическое соперничество в ядерный век. Однако его предупреждение против *дальнейшей* экспансии коммунизма подразумевало, что со всеми уже существующими коммунистическими режимами Америка смирилась. Советский дипломат Георгий Корниенко, прочтя стенограмму заседания, был изумлен уступчивостью президента. Кеннеди не только неимоверно затянул «философскую часть» переговоров, но и говорил так, «будто целиком согласен с тем, что капитализм идет к закату и будущее принадлежит социализму». Позиция Кеннеди удивила Корниенко; он даже заподозрил, что приспешники Хрущева подредактировали стенограмму ему в угоду<sup>75</sup>.

Позже Кеннеди прояснил свою позицию: он не возражает против социальных перемен как таковых, однако протестует, если такие перемены угрожают нарушить геополитическое равновесие, втягивая нейтральные государства в советский блок. Однако такую позицию Хрущев не принял. Когда американцы попытались раздавить Фиделя Кастро — разве это не была попытка нарушить сложившееся положение? Не говоря уж о том, что сам он приложил немало усилий, чтобы вытащить из западного блока Западный Берлин. Более того, Кеннеди высказал свои опасения в такой

форме, какую Хрущев считал не только политически неприемлемой, но и лично для него оскорбительной<sup>76</sup>. Президент предупредил, что нерасчетливость с обеих сторон может привести к самым печальным последствиям. Хрущев в ответ заявил, что нерасчетливость — «очень неудачный термин». У него складывается впечатление, что Соединенные Штаты «хотели бы поучать СССР, как школьника». Однако Советский Союз не позволит отговорить себя от защиты своих интересов<sup>77</sup>.

Звучит достаточно сильно, однако дипломатичный американский стенограф смягчил истинные выражения Хрущева. В тот же вечер в американском посольстве, прогревая в ванне больную спину, Кеннеди рассказывал Кеннету О'Доннеллу: «Хрущев просто взбесился. Начал орать: "Нерасчетливость! Нерасчетливость! Нерасчетливость! Только это и слышно от вас, и от ваших журналистов, и от ваших друзей в Европе и повсюду — везде это проклятое слово, нерасчетливость! Засуньте его в морозилку и никогда больше не употребляйте! Меня тошнит от него!"»<sup>78</sup>

Внезапная вспышка гнева советского лидера была вызвана не только тем, что именно в нерасчетливости обвинял его в свое время Молотов, но и тем, что это обвинение было справедливо. В конце концов, как иначе можно назвать его политику по германскому вопросу? Однако Кеннеди, пораженный гневом Хрущева, поспешил признать, что и Америка порой проявляла нерасчетливость (например, в Корейской войне, когда американцы не подумали о возможности китайской интервенции, или в недавней истории с Кубой), и Хрущев воспринял это как знак слабости — ибо сильный человек, по его мнению, не стал бы признавать свои ошибки в разговоре с противником.

Впрочем, на прогулке, последовавшей за ланчем, Кеннеди проявил уже вполне однозначную слабость. Он признал, что его положение в родной стране довольно шатко (что, как он объяснил, связано с победой небольшим числом голосов и недостатком поддержки в конгрессе), и попросил Хрущева не требовать уступок, способных еще сильнее подорвать его позицию. Хрущев ответил на это пространной речью о Берлине, в которой чувствовалось и желание надавить на президента, и опасение, что американские реакционеры, в свое время заставившие Эйзенхауэра свернуть разрядку, теперь сделают то же с его наследником<sup>79</sup>.

Вечернее заседание прошло ненамного лучше, однако Хрущев остался доволен. Кеннеди признал, что Соединенные Штаты рассматривают «существующий баланс между

советско-китайскими [!] силами и силами США и западноевропейских стран как более или менее равновесный». Хрущев воспринял это как подтверждение того, на чем так долго настаивал: что СССР достиг примерного паритета в вооружениях с США и новая мировая война теперь немислима<sup>80</sup>.

В 18.45 договаривающиеся стороны распрощались. Корреспонденту «Санди таймс» Генри Брэндону, хорошо знавшему президента, Кеннеди показался «ошеломленным». «Это всегда так?» — спросил Кеннеди посла Томпсона. «Зависит от обстоятельств», — отвечал посол, «очень расстроенный» тем, что президент не внял его совету не затрагивать идеологические вопросы.

Возможно, среди прочих советов Кеннеди следовало послушать и совета своей жены. Проведя с Хрущевыми вечер (ужин в Шенбруннском дворце и посещение оперного театра), Жаклин Кеннеди верно заключила, что госпожа Хрущева — «крепкий орешек» и что хотя и говорят, что Аджубей имеет на своего тестя большое влияние, Хрущеву тот «по-настоящему не нравится» и он «не особенно с ним близок»<sup>81</sup>. Миссис Кеннеди, с которой Хрущев сидел рядом за столом, показалась ему «языкастой». Когда он начал хвастать, что на Украине сейчас больше учителей, чем было до 1917 года, она прервала его: «О, господин председатель, давайте не будем о статистике — это так скучно!» «В разговоре находчива: с ней не связывайся — обрежет!» — вспоминал позже Хрущев. Ах, если бы можно было сказать то же самое и о ее муже!<sup>82</sup>

4 июня, в воскресенье, в 10.15 в советском посольстве продолжились переговоры. Кеннеди наконец перешел к делу. Обе стороны согласились, что в Лаосе необходимо прекратить огонь и сформировать нейтральное правительство. Однако замечание Кеннеди об интересах США в Азии вызвало со стороны Хрущева новый взрыв гнева. Соединенные Штаты, заявил он, «так богаты и могущественны, что приписывают себе какие-то особые права и не считают нужным признавать права других». Пусть президент извинит Хрущева за прямоту, но это «мегаломания» и «бред величия». СССР не позволит, чтобы ему указывали: «Не суй нос туда, не суй нос сюда», — особенно в то время, когда Соединенные Штаты «распространяют свое влияние повсюду». Конечно, западные люди «искуснее восточных умеют бросаться тонко замаскированными угрозами»; но, когда американцы говорят о приверженности определенным установкам, это значит, что они «и Крым готовы захватить — ведь это тоже улучшит их положение»!<sup>83</sup>

Обмен мнениями о запрете ядерных испытаний также ни к чему не привел. Хрушев все еще предпочитал всеобщее и полное разоружение (которое, легковесно заметил он, «при наличии доброй воли» можно провести за два года). Высказываясь по вопросу о Берлине и Германии, он начал вежливо, но твердо. То, что он хочет сделать, «повлияет на отношения между нашими двумя странами», особенно «если США неверно поймут советскую позицию». Он хочет достигнуть соглашения с президентом (он подчеркнул слова «с вами»), однако, если Соединенные Штаты не ответят взаимностью, СССР «подпишет мирный договор» с Восточной Германией, положив тем самым конец всем оккупационным договоренностям, в том числе и о доступе западных держав к Берлину. Это утверждение Хрушев повторил раз десять, словно стараясь убедить не только Кеннеди, но и самого себя. «Никакая сила в мире» его не остановит. Сколько еще можно ждать? Еще шестнадцать лет? Или еще тридцать?

На этот раз президент, собравшись с силами, отвечал холодно и по делу. Берлин — не Лаос. Это «одна из основных проблем, волнующих США». Соединенные Штаты пришли туда «не по чьей-то милости. Мы прорвались туда с боем... Западная Европа необходима нам для обеспечения нашей национальной безопасности, и мы поддерживали ее в двух мировых войнах». Господин Хрушев, продолжал президент, называл его «молодым человеком», «но он не так молод, чтобы принимать предложения, явно враждебные интересам США».

В ответ на столь резкий отпор Хрушев поначалу проявил раздражение: судя по тому расширенному толкованию, которое Кеннеди придает понятию национальной безопасности, «США могут и Москву оккупировать — ведь это улучшит их позиции!». Однако затем, смягчившись, начал заверять Кеннеди, что «престиж США не пострадает и все это поймут». В конце концов он снова «завелся» и заметил, что, если Соединенные Штаты хотят начать войну за Берлин — «пусть начинают сейчас», пока не изобретены какие-нибудь еще более ужасные средства массового уничтожения. Эти слова так напугали стенографов, что советский заменил их на «пусть Соединенные Штаты примут на себя полную ответственность за это», а американский — просто на «пусть так и будет»<sup>84</sup>.

Обед превратился в затишье перед новым штормом. Хрушев пообещал не возобновлять ядерные испытания, пока этого не сделают Соединенные Штаты (это обещание он тем же летом нарушил), похвалил саммиты, на которых каждый

«может выслушать позицию другого», и с улыбкой заверил Кеннеди, что, хотя мирный договор с Восточной Германией и может вызвать «большую напряженность», в конце концов «облака рассеются и снова выглянет солнышко».

В 15.15 лидеры двух стран встретились в последний раз: на этом заседании присутствовали только переводчики. Кеннеди предупредил, что не следует втягивать Соединенные Штаты в ситуацию, «глубоко затрагивающую наши национальные интересы». Хрущев понял это так, что «США хотят унижить СССР, а это неприемлемо». Он предложил заключить по Берлину промежуточное соглашение, защищающее «престиж и интересы обеих стран», однако дал понять, что рано или поздно со своими правами в Берлине американцам придется распрощаться. Когда Кеннеди заметил, что СССР предлагает выбор между отступлением и конфронтацией, Хрущев ответил: «Если США хотят войны — это их проблема». Советское решение подписать мирный договор «твердо и непоколебимо, и, если Соединенные Штаты откажутся от промежуточного соглашения, Советский Союз подпишет договор в декабре».

— Если это правда, — проговорил Кеннеди, заканчивая саммит, — нас ждет холодная зима<sup>85</sup>.

«Никогда еще не встречал такого человека, — рассказывал Кеннеди после возвращения из Вены корреспонденту «Тайм» Хью Сайди. — Я ему говорю, что ядерная война убьет семьдесят миллионов человек за десять минут, а он смотрит на меня и отвечает: “Ну и что?”» Роберт Кеннеди никогда не видел брата «таким расстроенным». Президент снова и снова перечитывал стенограммы саммита, в особенности диалогов по берлинскому вопросу<sup>86</sup>. В меморандуме, переданном президенту в Вене, Хрущев назначил новый шестимесячный срок. Надеюсь, что меморандум не будет предан огласке, Кеннеди не упоминал о нем в телевизионном выступлении перед народом, заявив, что, хотя «эти два дня стали серьезным испытанием», «никаких угроз или ультиматумов ни с той, ни с другой стороны не было»<sup>87</sup>.

Однако 11 июня Хрущев опубликовал меморандум, а 15 июня в телевизионном обращении к советскому народу повторил заявление о шестимесячном сроке. Несколько дней спустя, на церемонии в Кремле, посвященной двадцатилетию вторжения фашистских захватчиков, Хрущев (одетый ни больше ни меньше, как в форму генерал-лейтенанта) произнес еще одну суровую речь. Западных лидеров, стре-

мящихся «проверить силу» СССР на почве германского вопроса, «постигнет судьба Гитлера», — заявил он, впрочем, поспешив добавить: «Пожалуйста, не воспринимайте эти слова как угрозу. Это призыв к здравому смыслу»<sup>88</sup>. А неделю спустя воскликнул: «Не пытайтесь нас запугать, господа, в любом случае договор будет подписан!»<sup>89</sup>

Кеннеди не дал на ультиматум Хрущева немедленного ответа: он попросту не знал, что сказать. Он спросил совета у бывшего госсекретаря Дина Ачесона, и тот порекомендовал публично объявить об увеличении как ядерных, так и обычных вооружений, перебросить в Западную Германию две-три дивизии и ввести в стране чрезвычайное положение. Если Хрущев не поймет намека и блокирует Берлин, Вашингтон сможет прорвать блокаду, одновременно продемонстрировав свою готовность к применению в случае необходимости ядерного оружия. Другие советники, в том числе и посол Томпсон, рекомендовали наращивать вооружения, не объявляя об этом на весь свет, и готовиться к возобновлению переговоров после выборов в Западной Германии, назначенных на сентябрь.

Президент решил оставить открытыми все возможности: он приказал готовиться к неядерной защите Берлина, но и от переговоров не отказывался. Роберт Кеннеди предупредил советского разведчика Георгия Большакова, с которым вел секретные переговоры с мая, что его брат умрет, но не покорится; то же передавали Меншикову Пол Нитце и Уолт Ростоу. Однако посол, думавший только о том, как угодить Хрущеву, передал в Кремль, что братья Кеннеди «петушатся», однако, когда дойдет до подписания договора с Восточной Германией, они «первые наложат в штаны»<sup>90</sup>.

19 июля Кеннеди одобрил увеличение расходов на вооружение на 3,5 миллиарда долларов, однако чрезвычайное положение объявлять не стал. Он обратился к конгрессу с предложением утроить регулярный призыв в армию, объявить о призыве запаса и подготовить бомбоубежища на случай ядерной войны. Все эти меры наряду с мрачной речью, произнесенной 25 июля, превзошли ожидания Хрущева. В Большом театре на выступлении Марго Фонтейн советский руководитель подошел к британскому послу сэру Фрэнку Робертсу и предупредил его, что может разместить в Германии в сто раз больше войск, чем западные державы, и что, если начнется ядерная война, шести водородных бомб для Англии и девяти для Франции будет «вполне достаточно»<sup>91</sup>.

В конце июля Хрущев навестил на черноморской даче Джон Дж. Макклой. Макклой, основной «переговорщик» Кеннеди по вопросам разоружения, был с женой и дочерью в Москве, когда их внезапно вызвали в Пицунду. Очевидно, Хрущев узнал, что 25 июля Кеннеди произносит речь, и хотел иметь возможность дать на нее немедленный и прямой ответ. До того, как прочесть ее, он был в прекрасном расположении духа, предложил Макклою поплавать, одолжив ему купальный костюм, фотографировался с ним в обнимку, играл в бадминтон и шутливо сравнивал дипломатию с перекидыванием мяча туда-сюда<sup>92</sup>.

Однако на следующее утро, прочтя и обдумав речь Кеннеди, Хрущев «просто взбесился» и «начал выражаться воинственно и грубо». Назвав речь, «по сути, объявлением войны», поскольку в ней ему выносятся «ультиматум», Хрущев разразился уже известными угрозами: он подпишет мирный договор, несмотря ни на что; он перережет западные коммуникации с Западным Берлином; если Запад применит силу, война будет термоядерной; Соединенные Штаты и СССР, возможно, выживут, но европейские союзники США будут уничтожены полностью<sup>93</sup>. О Кеннеди Хрущев отзывался так, что Эйзенхауэр в сравнении с ним казался ангелом. Во время переговоров Хрущев с похвалой отозвался о бывшем президенте и намекнул, что готов возобновить приглашение в СССР, которое столь бесцеремонно отменил в разгар «самолетного» кризиса. «Разумеется, я не поеду, — заметил потом Эйзенхауэр сыну, — но то, что Хрущев об этом заговорил, меня, можно сказать, ошеломило меня»<sup>94</sup>.

Через неделю Хрущев подытожил разговоры с Макклоем в длинной сумбурной речи в Москве, на секретном саммите стран Варшавского договора: «Пожалуйста, передайте вашему президенту, что мы принимаем его ультиматум и его условия и ответим соответствующим образом... На войну мы ответим войной». Дальше Хрущев заявил: «Я — командующий Вооруженными силами, и, если начнется война, я сам отдам приказ». Если Кеннеди начнет войну — он станет «последним президентом Соединенных Штатов»<sup>95</sup>.

Речь Хрущева, обращенная к Макклою, знаменовала собой кульминацию кампании по запугиванию Кеннеди. Однако в ней отразилась и трудность его собственного положения. Неожиданная твердость, проявленная Кеннеди, не поколебала убеждения Хрущева, что американским президентом можно управлять. Напротив, он опасался, что президент по слабости позволит американским реакционерам втянуть себя в войну. «Что я могу сказать? Ультиматум при-

нимаем. Прошу передать вашему президенту: если вы объявляете нам войну, принимаем и эти условия, отвечаем вам войной... Мы встретим вашу войну войной со своей стороны». Дальше Хрущев заявил: «Я главнокомандующий, и если начнется война, я отдам приказ войскам, и мы встретим вас». Если Кеннеди начнет войну — он станет «последним президентом Соединенных Штатов».

Соединенные штаты — «это плохо управляемое государство», сообщил Хрущев своим союзникам по Варшавскому договору. «Кеннеди сам очень мало влияем на ход и развитие политики США... Американский сенат или другие органы очень похожи на наше древнее новгородское вече. Когда собирались бояре, они кричали, орали, за бороды друг друга таскали и таким способом решали, кто прав». Учитывая нестабильность американской политики, «от США всего можно ожидать. Может быть и война. Они могут развязать ее». Даже Даллес боялся войны, но если об этом скажет Кеннеди, «его могут обвинить в трусости». Кеннеди — «известный человек в политике, [и я выражаю ему сочувствие, потому что он] слишком легок и для республиканцев, и для демократов, а государство слишком большое, сильное государство, и поэтому это представляет известную опасность»<sup>96</sup>.

Лучший способ урезонить Америку, по-видимому, полагал Хрущев — запугать ее. Для этого он решил нарушить свое обещание не проводить ядерных испытаний, пока их не возобновят американцы. Публичное заявление об этом появилось в конце августа, однако Хрущев сообщил о своих намерениях еще в июле на секретном совещании в Кремле. Разумеется, не предполагалось, что приглашенные туда ученые начнут протестовать: однако один из них, Андрей Сахаров, осмелился возвысить голос — сперва устно, а затем написав Хрущеву записку, где указывал, что одностороннее нарушение моратория «сыграет на руку США», поскольку «нарушит переговоры о запрете испытаний, помешает делу разоружения и мира во всем мире». Хрущев не отвечал вплоть до ужина, последовавшего за встречей. Там, подняв бокал за ученых, он разразился получасовой лекцией — «поначалу спокойной», вспоминал Сахаров, «но затем — с нарастающим волнением, покраснев и повысив голос».

«Он сует свой нос в то, что его не касается... Политика — это как старый анекдот о двух евреях, которые едут в поезде. Один спрашивает другого: “Ты куда едешь?” — “В Житомир”. “Вот хитрая лиса, — думает первый еврей. — На самом деле он едет в Житомир, но мне сказал, что едет в Житомир, чтобы я подумал, будто он едет в Жмеринку”. Ос-

тавьте политику нам — специалистам... Нам приходится вести политику с позиции силы... Другого языка наши противники не понимают. Смотрите, мы помогли Кеннеди выиграть выборы в прошлом году. Потом встретились с ним в Вене — эта встреча могла бы стать поворотным пунктом... А он что говорит? “Не просите у меня слишком многого. Не загоняйте меня в ловушку. Если я уступлю слишком много, меня выставят из Белого дома”. Вот так история! Явился на встречу, которую не может провести! На кой черт он такой нам нужен? Зачем тратить время на переговоры с ним? Сахаров, не пытайтесь нам указывать, как нам себя вести и что делать. В политике мы разбираемся. Я был бы размазней, а не Председателем Совета Министров, если бы прислушивался к таким, как Сахаров!»

Гневная тирада Хрущева вызвала замешательство. «В комнате царила тишина, — вспоминал Сахаров. — Все словно приросли к месту: одни отводили взгляд, другие сидели с каменными лицами»<sup>97</sup>. Однако этот словесный поток отразил смятение и самого Хрущева. Если он такой умный — зачем же «помог выбрать» Кеннеди? Если американского президента контролируют враждебные силы — почему Хрущев поначалу на него рассчитывал?

Направление, в котором развивались события, тревожило не только самого Хрущева, но и — еще более — тех, кому приходилось воплощать его непредсказуемые решения в жизнь. 19 мая советский посол в Восточной Германии Михаил Первухин (тот самый, что поддерживал Молотова, Маленкова и Кагановича в 1957 году) направил Громыко письмо, в котором указывал на риск заключения мирного договора с Ульбрихтом. Чтобы избежать весьма вероятной экономической блокады со стороны Запада, Первухин предлагал заключить промежуточное соглашение, срок истечения которого *не приведет* к автоматической отмене прав западных держав в Берлине, — то есть нечто вроде того, что отверг Хрущев в Вене. 4 июля Первухин описывал «самые серьезные последствия, которые возникнут после подписания мирного договора» (то есть установление контроля ГДР над воздушными и наземными сообщениями с Западной Германией и Западным Берлином), в таком ключе, что из его изложения становилось очевидно: заключать договор нельзя<sup>98</sup>.

По словам Юрия Квицинского, дипатташе в Восточной Германии, «мы в посольстве и Третий Европейский отдел [Министерства иностранных дел] чувствовали и повторяли

немцам снова и снова, что нам необходимо проявлять больше сдержанности...». Корниенко и других русских в Вашингтоне больше всего беспокоило, что сам Хрущев сдержанность проявлять не будет<sup>99</sup>.

Было встревожено и советское военное командование, отвечавшее за возможное выполнение угроз Хрущева. В результате его похвалы западные расходы на вооружение росли, а поражающая способность межконтинентальных ракет СССР, в сущности, равнялась нулю. «Как бы мы ни уважали межконтинентальные ракеты, — жаловался маршал Сергей Варенцов полковнику Олегу Пеньковскому, — у нас по-прежнему ни черта нет. Все только на бумаге, а в реальности — ничего». Самое печальное, что Пеньковский был уже завербован американцами и, разумеется, немедленно передал сказанное Варенцовым своим западным хозяевам. Зимой 1961 года, пока Хрущев носился по стране, пытаясь наладить дела в сельском хозяйстве, его маршалы встретились с членами Президиума Микояном и Сусловым, у которых просили увеличить расходы на вооружение. «Сталин просто стукнул бы кулаком по столу — и все было бы сделано!» — говорил Варенцов Пеньковскому. Однако ничего сделано не было.

25 июня Варенцов пригласил нескольких близких друзей к себе на дачу отпраздновать свое повышение по службе. В частной беседе с Пеньковским он заметил, что намерение советского руководства поддержать ГДР в вопросе перегораживания основных шоссейных дорог, соединяющих две части Берлина и две части Германии, рискованно. Оно основано на предположении, что Запад не осмелится начать войну — а если и начнет, то война будет локальной. К масштабной войне, как слишком хорошо знали маршалы, Советский Союз был не готов<sup>100</sup>.

Ни недовольные дипломаты, ни недовольные военные не составляли открытой оппозиции: однако их недовольство, несомненно, в какой-то форме доходило до Хрущева. Сомнения других, прибавляя веса собственным колебаниям, увеличивали его стремление разрешить берлинский вопрос — любым способом, только быстрее! В конце июля Хрущев выделил время для отпуска в Крыму, как обычно, превратившегося в серию неформальных встреч и бесед с различными лоббистами и функционерами, прежде всего с конструкторами ракет. Новости были в основном хорошими: работы над созданием орбитальной бомбы и самолета с атомным мотором шли полным ходом. Однако, по словам Сергея Хрущева, «отец не переставал думать о Германии.

В Вене он сделал последнюю отчаянную попытку запугать Кеннеди и надавить на него: однако его угрозы лишь побудили Кеннеди к ответным действиям»<sup>101</sup>. Тем временем поток беженцев из Восточной Германии все увеличивался. Только за первую половину 1961 года сбежали более сотни тысяч человек — на шестнадцать тысяч больше, чем в первую половину 1960-го. За один июнь 1961 года в Западный Берлин перебежали почти двадцать тысяч, а в июле, когда Хрущев объявил, что повышает советский оборонный бюджет на одну треть, число беглецов достигло двадцати шести тысяч<sup>102</sup>.

Уже в марте 1961 года Ульбрихт предложил разгородить два Берлина стеной. Сперва Хрущев отверг эту идею как чересчур опасную, но затем передумал. Несколько сигналов из Вашингтона (в том числе повторяющиеся призывы Кеннеди защитить *Западный* Берлин и заявление сенатора Дж. У. Фулбрайта от 30 июня, в котором тот, по сути, публично примирился с существованием внутригерманской границы) убеждали его, что американцы особенно протестовать не будут, однако полной уверенности в этом не было. Нервозность Хрущева проявилась в строгой секретности, которой были окружены приготовления к постройке стены: даже в секретных советских стенограммах саммита стран Варшавского договора, где обсуждается во всех подробностях заключение мирного договора и его последствия, о стене нет ни слова. Перед тем как подписать проект, Хрущев даже посетил инкогнито и Восточный, и Западный Берлин. «Поездил с советским комендантом города по Западному Берлину, не выходя из машины, — вспоминает он. — Просто ездил, чтобы составить себе какое-то представление»<sup>103</sup>.

Волнение Хрущева отразилось и в публичных заявлениях, в которых воинственность странно сочеталась со страстными призывами к спокойствию. «Наш народ не дрогнет перед испытаниями, — заявил он в телевизионном выступлении 7 августа. — На силу мы сможем ответить силой и отразим натиск любого агрессора». Однако в той же речи он призывал западных лидеров «сесть, как честные люди, за стол переговоров, не нагнетать атмосферу, не создавать военного психоза, положиться на разум, а не на термоядерное оружие». Четыре дня спустя, на встрече с румынской делегацией, Хрущев предупредил, что в ядерной войне «могут погибнуть сотни миллионов». В Италии могут погибнуть «не только апельсиновые рощи, но и культурные ценности, и люди, которые их создали, возвеличили культуру и искусство Италии». То же может случиться с «Акрополем и други-

ми историческими памятниками Греции». Что же касается Западной Германии — «возможно, объединять будет уже нечего». Однако не стоит терять надежду: «Я обращаюсь к тем, кто не утратим способности спокойно и здраво мыслить и от кого зависит развитие международной обстановки... Давайте не пугать друг друга; не будем выискивать то, что нас разделяет, углублять и без того достаточно глубокие разногласия... Ведь есть же у нас общие потребности и интересы, раз нам приходится жить на одной планете!»<sup>104</sup>

Сергей Хрущев подтверждает, что «дома отец был настроен далеко не так решительно, как казалось по телепередачам». В разговорах с сыном Хрущев выражал опасение, что «у Кеннеди сдадут нервы и он наделает глупостей».

В качестве особой меры предосторожности Хрущев потребовал, чтобы стену возводили поэтапно: сперва — изгородь с колючей проволокой и лишь затем, если Запад промолчит, — бетон. 13 августа СССР затаил дыхание, ожидая реакции американцев. В Министерстве иностранных дел царили напряжение и тревога<sup>105</sup>. Когда стало ясно, что стену не снесут, писал позднее Сергей Хрущев, «отец вздохнул с облегчением: обошлось». Хрущеву пришлось понервничать немного позднее, когда Кеннеди направил в Западный Берлин полторы тысячи американских морских пехотинцев в полной боевой выкладке. «Нервозность отца передалась и мне», — пишет Сергей. Вечером, когда отец с сыном прогуливались в окрестностях резиденции Хрущева, вдруг появился запыхавшийся охранник с сообщением — ситуация не совсем обычная. Хрущев, рассказывает его сын, застыл на месте; однако тревога оказалась ложной. Кеннеди не стал сражаться за свободу восточных немцев: в сущности, он никогда этого и не обещал.

«Отец был очень доволен, — вспоминает Сергей. — Он полагал, что от установления контроля над границами ГДР выиграла даже более, чем от подписания мирного договора»<sup>106</sup>. Однако помощник Хрущева по внешнеполитическим делам Трояновский считал иначе. По его словам, возведение стены стало «спасением лица» Хрущева, «молчаливым признанием того, что ему не удалось достичь своей цели», которой он добивался уже несколько лет — «заставить западные державы пойти на выгодный для ГДР компромисс»<sup>107</sup>.

Уступчивость Кеннеди в вопросе со стеной имела и другое следствие: Хрущев уверился, что на американского президента можно и нужно давить — и вскоре эта его уверенность привела к Карибскому кризису, поставившему мир на грань уничтожения.